

DOI: 10.17976/jpps/2017.01.08

## МАССОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ РЕСЕНТИМЕНТА

Д.В. Козлов

**КОЗЛОВ Дмитрий Викторович**, кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета, научный директор Межрегионального института общественных наук при ИГУ. Для связи с автором: [dvk@home.isu.ru](mailto:dvk@home.isu.ru)

Козлов Д.В. Массовое политическое поведение в современной России в свете концепции ресентимента. — Полис. Политические исследования. 2017. № 1. С. 85–98. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.01.08>

*Статья получена: 14.04.2016. Принята к печати: 18.10.2016*

**Аннотация.** Статья посвящена анализу феномена массовой политической реакции на украинский кризис и охлаждение российско-американских и российско-европейских отношений, а также медийному освещению этих событий в 2013–2015 гг. В статье рассматриваются концепции аномии и ресентимента, позволяющие дать новые интерпретации ситуации кризиса современного российского общества и рассмотреть эту ситуацию как сложный комплексный феномен, связанный с предшествующим историческим развитием, анализируется возможность интерпретации кризиса с учетом его развития в рамках консьюмеристского (потребительского) общества. Автор делает вывод, что знаковые изменения в массовой российской политике в последнее время связаны в том числе и с развитием политики памяти, которая, взаимодействуя с различными практиками ресентимента, полностью вписывается в логику консьюмеристского общества, влияя на появление все новых и новых значимых идеологических и культурных потребительских брендов. В результате формируется интересный тип возможного политического поведения индивида или социальной группы, совмещающий в себе самые разные ценностные ориентации, в частности, связанные с идеологией ресентимента, иллюзией участия в политике через консьюмеристское потребление медийного политического продукта, необходимостью постоянного конструирования властью и медиа навязываемого обществу чувства сопричастности существующему политическому режиму через реализацию определенной политики памяти, направленной на работу с образами прошлого и на их активное потребление современным российским обществом. Такие политические ориентации с трудом укладываются в традиционные идеологические и политические схемы европейского общества эпохи модерна (либерализм, консерватизм, левые идеологии и т.д.) и заставляют по-новому подойти к возможным оценкам как способов описания современных политических предпочтений российского общества, так и динамики их возможных изменений в будущем.

**Ключевые слова:** Россия; ресентимент; историко-культурная травма; потребительское общество; политический процесс; политика памяти; кризис.

Украинский кризис и последовавшее за ним охлаждение российско-американских и российско-европейских отношений в 2013–2015 гг. вызвали массовую политическую реакцию в стране. Для многих исследователей это был готовый кейс для анализа различных моделей массового поведения как одного из условий современного политического процесса. В статье анализируются концепции аномии и ресентимента, позволяющие дать новые интерпретации кризиса в рамках консьюмеристского общества и рассмотреть этот кризис как комплексный феномен, связанный с предшествующим историческим развитием.

## **КОНЦЕПЦИИ АНОМИИ И ТРАВМЫ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 1990-е годы**

В 1990-е годы популярной для описания состояния российского общества была концепция аномии. Она претендовала на целостный анализ динамики развития постсоветского российского общества. Идея Э. Дюркгейма о разрушении чувства солидарности традиционных сообществ при задержке формирования солидарности гражданского общества и связанного с этим сознательного нарушения частью населения общепринятых норм этики и права оказалась полностью применимой для анализа постсоветского общества. С. Кара-Мурза связывает ситуацию аномии с травмой и описывает ситуацию культурной травмы российского общества, используя ценностные категории, связанные с метафорами разрушения и деструкции: “Атомизация общества, индивидуализм его членов, одиночество личности, противоречие между навязанными обществом потребностями и возможностями их удовлетворения – вот условия возникновения аномии. Целые социальные группы перестают чувствовать свою причастность к данному обществу, происходит их отчуждение, новые социальные нормы и ценности отвергаются членами этих групп” [Кара-Мурза 2013: 10].

В менее социально критичных и ангажированных текстах известный польский социолог П. Штомпка постулирует возможность взаимосвязи концепта травмы и ситуаций резких социальных изменений [Штомпка 2001: 8-9]. По его мнению, готовность к травме возникает, когда появляется форма дезорганизации, смещения, несогласованности в социальной структуре или культуре, иными словами, когда контекст человеческой жизни и социальных действий теряет гомогенность, согласованность и стабильность, становясь другим, даже противоположным культурным комплексом [там же: 9].

Травматическая ситуация (событие) может быть определена как состояние напряжения, связанное с конкретными социальными изменениями, которые в этом контексте имеют следующие характеристики:

- происходят неожиданно и стремительно;
- располагают определенным содержанием и размахом (радикальные, глубокие, всесторонние, затрагивающие основы);
- воспринимаются как нечто экзогенное, пришедшее извне, на что мы сами не влияли, а если и влияли, то неосознанно (мы “страдаем” от травм, мы “сталкиваемся” с травмами);
- возникают в определенном мыслительном контексте – как нечто неожиданное, непредсказуемое, удивительное, шокирующее, отталкивающее.

Можно дать примерный список социальных и политических изменений, различных по размаху и значимости, отвечающих – в большей или меньшей степени – этому описанию и, следовательно, потенциально способных вызывать травматические события или ситуации:

- революция (удавшаяся или нет), государственный переворот, уличные бунты;
- радикальная экономическая реформа (национализация, приватизация и т.п.);
- иностранная оккупация, колониальное завоевание;
- принудительная миграция или депортация;
- геноцид, истребление, массовые убийства;
- религиозная реформация, новое религиозное пророчество;
- открытие секретных архивов и правды о прошлом;
- ревизия героических традиций нации;
- крах империи, проигранная война.

Травматические события вызывают нарушение привычного образа мысли и действий, меняют, часто трагически, жизненный мир людей, модели их поведения и мышления.

## В ПОИСКАХ ЯЗЫКА ОПИСАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС

Необходимость выработать язык для анализа массовых политических и социальных явлений стала особенно очевидна в связи с украинским кризисом и охлаждением российско-американских и российско-европейских отношений, а также освещением этих событий в медиа и общественной реакцией на все происходящее в 2013–2015 гг. В этих условиях можно рассуждать о возможности и востребованности описания происходящего с использованием различных научных теорий.

Интересный поворот тема анализа массового поведения получила, в частности, на XXIII “Больших Банных чтениях” (2015 г.), посвященных исследованию антропологии массового психоза в современных обществах. По мнению одного из выступавших (О. Аронсона), когда мы говорим о массе, массовом психозе, о внушаемой толпе, то подспудно противопоставляем этим образам образ индивида, обладающего самосознанием и самоконтролем, свободой и ответственностью, руководствующегося незыблемыми ценностями (индивидуализированного субъекта, личности), которые теряются, когда он становится частью массы)<sup>1</sup>. Переход от индивида к массе мыслится исключительно в негативных терминах: как утрата индивидуальных особенностей, деградация, энтропия и т.п. Не избежали негативного отношения к коллективности также и З. Фрейд, и М. Хайдеггер, хотя попытались депсихологизировать массу, указать на особый характер ее действия, который не укладывается в рамки логики индивида. По мнению Аронсона, именно такая депсихологизированная масса стала основой понимания политического в прошлом столетии. Характерен пример Первой мировой войны, которая была первой “демократической” войной, войной не столько государств, сколько общностей (“народов”), для которых уже действовала логика сопричастности экзистенциальному событию, когда уже не было разделения на солдата и генерала. Эйфория начала Первой мировой войны была практически всеобщей. И эта эйфория, так же как и зарождающиеся в ту эпоху кинематограф; популярная музыка, всеобщие образование и здравоохранение, — свидетельства того, что люди в то время вступили в мир иных отношений, в мир массового общества<sup>2</sup>.

Речь идет о современном обществе с характерными для него чертами развитых медиа (“четвертая власть”) и консьюмеризма, общества массового и урбанизированного. Тема массовости, тема “объединенности”, как мы уже указывали, всегда интересовала исследователей — можно вспомнить Г. Лебона, З. Фрейда, Э. Канетти, Х. Ортегу-и-Гассета, Х. Арендт и многих других. Но нас привлекает не просто идея нового качественного состояния общества с трансформирующейся социальной структурой, новым пониманием политики, культуры, а скорее процесс единения, слияния, момент экзальтации.

<sup>1</sup>Аронсон О. Эпидемиология политического. Тезисы. — XXIII Банные чтения. Антропология массового психоза в современных обществах. 3-4.04.2015. Москва. Доступ: <http://www.nlobooks.ru/node/5893> (проверено 14.11.2016).

<sup>2</sup>Там же.

Другой важный объект наших размышлений – ситуация фрустрации, недовольства существующим положением вещей, оценка его как несправедливого, ситуация травмы. Можно использовать не “натуралистическое” описание ситуации травмы (в просвещенческой или психоаналитической трактовке), а скорее подход к травме как социально обусловленному явлению. В этом случае скорее нужно говорить о конструировании травматического события (здесь можно провести аналогию с “воображаемыми сообществами” Б. Андерсена). Травма в таком случае рассматривается не как результат общего для определенной группы опыта боли, а как результат восприятия и описания факта социальной боли как угрозы социальной идентичности, рассматриваемой в контексте того, кто они, откуда и куда идут. Ключевой момент при этом – разрыв между событием и его репрезентацией, который можно понимать как “социальный процесс культурной травмы” [Александр 2013: 255-310]. Важно, что в случае “воображения” травмы речь идет не об иллюзии. Скорее можно использовать отсылки к Э. Дюркгейму и его “Элементарным формам религиозной жизни”, где он рассуждает о “религиозном воображении”, указывая на то, что воображение есть неотъемлемое свойство самого процесса репрезентации. Оно заимствует из жизни зарождающееся впечатление и посредством ассоциаций, сгущения и эстетического творчества придает ему какую-либо форму. Только в основанном на воображении процессе репрезентации акторы испытывают ощущение переживания события на собственном опыте.

#### ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА С ПОМОЩЬЮ КОНЦЕПЦИИ РЕСЕНТИМЕНТА

88 Можно работать с различными концептами, предлагаемыми социальной психологией, историей, социологией, антропологией, собственно психологией. Помимо упомянутой концепции аномии интересной выглядит возможность использования идеи ресентимента, которая самим рождением обязана Ф. Ницше. Для него в ресентименте имеется несколько сторон, одна из которых направлена вовне, другая внутрь. Речь идет о генеалогии морали, связанной с христианством, в представлении Ницше, моралью рабов, слабых и униженных [Ницше 1990]. *Ресентимент* возникает в его трактовке как *чувство мести и зависти* по отношению к господам (при этом можно выделить отношение к господам как виновникам данной ситуации и отношение к себе самим как жертвам и “лузерам”, не справившимся с жизненными вызовами)<sup>3</sup>. С одной стороны, есть внешний, направленный вовне импульс, поскольку всегда есть кто-то, тот самый Другой, тот, кто “виноват в том, что я такой”. С другой стороны, присутствует внутренняя сторона – та, что обращена на себя самого. Рассказывая и концептуализируя эту историческую “фэнтези”, философ провоцировал читающих, заставляя их “вписывать” собственные истории в свой “мегатекст”.

Итак, мы видим, что важной отличительной чертой ресентиментной ситуации можно считать фрустрацию, связанную с личностным переживанием. Но помимо этого мы можем рассматривать ресентимент и как групповой феномен, требующий и находящий массовый отклик у людей, объединяющий их в едином порыве. Тема получила развитие у М. Шелера, который оспорил выводы Ницше в их приложении именно к христианству. Можно сказать, что он разорвал пуповину, соединяющую по замыслу создателя концепта сконструиро-

<sup>3</sup> В данном случае нас меньше всего интересуют размышления Ницше о христианстве, существо которых потом часто ставилось под сомнение. Важно подчеркнуть сам динамичный характер схемы Ницше.

ванное явление ресентимента и реальную религию – христианство. Но Шелер не отбросил саму идею, саму концептуализацию. Он акцентировал несколько моментов в своем анализе осмысления этого феномена [Шелер 1999].

1) В основе лежит переживание, его воспроизведение и своего рода постоянный “апгрейд” реакции на Другого.

2) Речь идет об оценке этого эмоционального переживания как практики постоянного вчувствования заново, постоянного проживания и повторения одной и той же ситуации.

3) Наступает своеобразное “самоотравление” этими переживаниями.

4) В итоге возникает бессилие, сопровождающее все эти эмоции, внутреннее напряжение между импульсами зависти, ненависти и мести, с одной стороны, и сознанием собственного бессилия, с другой, которое способно приводить к той точке психологического “экстремума”, где указанные аффекты принимают форму ресентимента.

5) Ресентимент напоминает мину замедленного действия; его реактивность до поры до времени поддается контролю, может быть растянута во времени, отложена на будущее, до появления условий, более подходящих для выброса вовне накопившейся темной, деструктивной энергии; но эта психологическая “мина” может взорваться в любой момент.

Таким образом, можно говорить о ресентименте как об антропологической конструкции, характеризующейся следующими чертами.

1) Ресентимент – комплекс социальных чувств, сошедшихся в точку сознательных и бессознательных интенций, сплетшихся в один узел эмоций и страстей.

2) Ресентимент образуется в конкретном социальном пространстве, внутри определенной социальной среды и представляет собой результат практического взаимодействия социальных субъектов, средоточием множества детерминационных связей исторического, социального, культурного характера, тянущихся как к нему, так и от него.

3) Ресентимент аффективен, взрывоопасен, способен обретать самодовлеющий характер внутренней причины активных социальных действий как индивидов, так и масс.

4) Формирование и распространение ресентимента внутри конкретных групп зависит как от реального антропологического материала, так и от тех социальных структур, внутри которых этот материал существует.

5) Ресентимент интересубъективен и способен влиять на всех участников социального взаимодействия, на их мировоззрение, мотивационные структуры, ценностные ориентации и, конечно же, практическое поведение.

6) Ресентимент формирует особую категорию социальных типов (“ресентиментные типы”), в мировоззрении и поведении которых все индивидуальное подчинено ресентиментной доминанте (“человек из подполья” Ф.М. Достоевского).

Развивая идеи Шелера, политическая философия XX в. тоже продолжила разгадывать загадку Ницше. В частности, это связано с работами П. Слотердейка и С. Жижека. По мнению П. Слотердейка, необходимо разграничивать гнев и ресентимент. Если обида провоцирует гнев и гнев не может вылиться, потому что его сдерживают, то это и ведет к ресентименту и к разрушительной ненависти [Слотердейк 2001]. Питер Слотердейк работает в русле

“психополитики”, которая предполагает акцент не на психологизацию сил, действующих в политике, а на исследование аффектов, выражающихся на коллективном уровне. Он продолжает традицию, к которой можно отнести психологию толпы (Г. Брех или Э. Канетти), антропологию подражания (Г. Тард и Р. Жерар) и теории медиа (М. Маклюен и Ж. Бодрийар). Для Слотердейка капитализм как никакой другой социальный режим производит resentment через поощрение таких чувств, как ревность, надежда, ностальгия. В итоге, считает ученый, рождаются внутреннее ощущение вины и ненависть к окружающему миру, а современное общество представляет собой общество resentment.

По мнению другого исследователя, С. Жижика, resentment — реакция на различные катастрофические ситуации XX в. (холокост, геноцид, этнические чистки, массовые убийства). Часто эти события исключают такие реакции, как возмездие, прощение, забвение. Единственный результат в таких случаях — это ситуация resentment, а именно resentment жертв [Жижик 2010: 70-71]. Ее описал в 1966 г. бельгийский философ Ж. Амери в работе “По ту сторону преступления и наказания”. Ученый, родившийся в Австрии, изменил свое имя с немецкого Майер на его анаграмму — Амери с целью изменения идентичности. Он хотел полностью дистанцироваться от всего того, что обрекло его на концентрационные лагеря и на пытки. По мнению Амери, забыть все, что происходило с ним в годы Второй мировой войны, аморально. Resentment в таком случае представляет из себя альтернативу социальным практикам забывания и искупления. Амери отталкивается от описания Ницше: “Resentment сам становится творческим и порождает ценности: resentment таких существ, которые не способны к действительной реакции, реакции, выразившейся бы в поступке, которые вознаграждают себя воображаемой мстью... Человек resentment лишен всякой откровенности, наивности, честности и прямоты к самому себе. Его душа косит, ум его любит укрытия, лазейки и задние двери; все скрытое привлекает его как его мир, его безопасность, его услада” [Амери 2015: 109-138]. Он считает, что надо с двух сторон ограничить resentment — от Ницше, который подверг его моральному проклятию, и от современной психологии, трактующей его только как досадный конфликт. Амери видит логическую противоречивость состояния resentment, ведь он “накрепко приговораждает нас к кресту разрушенного прошлого. Выдвигает абсурдное требование — сделать необратимое обратимым, свершившееся — не свершившимся. Resentment блокирует выход в собственно человеческое измерение — в будущее” [там же]. В нем значимой становится проблема времени, ведь он предполагает возврат в отжившее и отмену случившегося. Таким образом, возникает ситуация, когда две группы людей — “одолевшие и одоленные” — объединены в желании повернуть время вспять и морализовать историю. Но, согласно Амери, это не может длиться долго, и рано или поздно должно закончиться (сам Амери покончил с собой).

Известный американский историк Ш. Фицпатрик в своем анализе использовала различие между понятиями “мсть” и “resentment”. Первое связано с действиями, второй — с психологическими эмоциями, на которых основаны действия. Мсть связана с практиками, resentment с дискурсом. Для Фицпатрик любая революция сама по себе часто связана с resentment. Но для Ницше resentment — это замена подлинной реакции воображаемой мстью. В данном случае подразумевается отслеживание ученым глубоких психологических глубин, что часто не очень нравится историкам. Фицпатрик задает следующий вопрос: есть ли у resentment история, может ли он

меняться со временем? Или это постоянный неизменный ресурс, который прорывается на поверхность или который можно “добывать”, а об изменениях можно говорить лишь на протяжении столетий. У самой Фицпатрик в ее рассуждениях о русской революции ресентимент — это скорее ресурс, основа революционных страстей. Для Ницше именно память и невозможность забыть — основа ресентимента. Но ведь память способна меняться, развиваться и даже конструироваться. Фицпатрик сравнивает ситуацию французской и русской революций. Есть общий объект ресентимента — аристократы и священники, но есть и различия: в России это, например, капиталисты и кулаки. Русский революционный дискурс эксплуатации отталкивался от ситуации крепостного права. Затем к нему добавилась капиталистическая эксплуатация рабочих. Существовали различные исторически менявшиеся формы выражения ресентимента. Для некоторых большевистских интеллектуалов социальное уничтожение эксплуататорских классов было источником пассионарного энтузиазма. По мере стабилизации режима институционализированные ритуалы критики и самокритики становились каналами выражения ресентимента.

Интересна распространенная в постреволюционном советском обществе практика доносов. Она позволяла ее “носителям” избежать прямой конфронтации и подразумевала ограниченный риск. Сами доносы тоже могут рассматриваться как форма ресентимента. Практика доноительства на начальников рассматривалась советским режимом как триумф демократии и как возможность высказаться маленькому человеку [Fitzpatrick 2001]. Надо отметить, что объекты ресентимента менялись с течением времени.

Помимо сложных интеллектуальных построений, связанных с концепцией ресентимента, остаются востребованными и чисто психологические объяснения этого феномена:

- 1) Заторможенный импульс мести (отсроченная месть — месть “не сразу”, а отложенная “на потом”).
- 2) Помимо зависти можно говорить о выраженном чувстве мести, приобретающем экзистенциальный характер — почему я, а не ты?
- 3) Наличие травмы, обиды.

### **КОНЦЕПЦИЯ РЕСЕНТИМЕНТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ**

По частоте переживания среди россиян наиболее распространено чувство несправедливости всего происходящего вокруг [Двадцать лет... 2011: 28, 293]. Это чувство, свидетельствующее о нелегитимности в глазах россиян самого порядка, сложившегося в России, испытывало хотя бы иногда, по данным на апрель 2011 г., подавляющее большинство всех россиян (свыше 90%), при этом 46% испытывали его часто [там же]. Можно постулировать, что рождение современного российского общества связано с родовой травмой, концептуализируемой как чувство несправедливости.

“Родовая травма”, связанная с возникновением молодого российского государства, очень хорошо описывается с помощью концепции ресентимента. Это проявляется в распространенности таких обозначений и определений, как описание общества с помощью образа социума, разделенного на “народ” и “олигархов”, на “мы” и “они”. В результате формируется дискурс тотальной социальной несправедливости, влияющий на различные прочтения и концептуализации современного российского развития, например, с точки зрения государства, отчужденного от народа. Можно говорить, например, о “гражданском ресенти-

менте”, когда речь идет о критике современного развития России с точки зрения монополизации государства бюрократией или группой приближенных к власти бизнесменов. Другой пример связан с ярко выраженной ситуацией враждебности и ксенофобии по отношению к Иному, Другому — речь может идти и о мигрантах (“понаехали тут”), и о международных конфликтах (пресловутые мифологизированные и демонизированные американцы). Ситуация ресентимента позволяет всегда найти виновного в собственных бедах. И еще одна ситуация связана со спецификой структурирования российской политики с точки зрения взаимодействия власти и оппозиции. Оппозиция всегда находится в невыигрышном положении объекта постоянной критики (“пятая колонна”). Отметим, что сами эти политические “реинкарнации” ресентимента взаимобратимы и могут рассматриваться как части одного типа политической культуры или набора определенных установок на восприятие и интерпретацию политических процессов. Они вполне могут перетекать друг в друга и взаимодействовать.

В результате идея справедливости становится своеобразным синонимом ресентимента. Но надо различать справедливость как сложный философский концепт и как идеологию улицы, стремящуюся предельно просто сформулировать содержание и видимые проявления присутствия / отсутствия справедливости в окружающем мире. Дискурс ресентимента не может быть монополизирован какой-либо одной социальной группой, политической партией или лидером, но всегда есть запрос общества на его концептуализацию и его выражение в политике. Подобный политический дискурс является своего рода “общественным достоянием”, которое принадлежит одновременно всем и никому — любой может приобщиться к этому дискурсу, оказавшись в длинной очереди в муниципальной поликлинике, столкнувшись с проблемами в какой-либо бюрократической инстанции, получив счет на оплату квартиры, посмотрев очередные новости о “кознях” Запада. Этот дискурс достаточно легко “включить”, как свет в комнате, используя пару-тройку известных всем метафор и выражений.

В данном случае мы можем говорить, с одной стороны, о политическом процессе как феномене массового общества, но с другой стороны — о его очевидной традиционности (отсутствии структурированности, непроявленности и невыраженности различных интересов, что ведет к простому противопоставлению власти и народа). Но эта же массовость и возможность описать политический процесс с помощью концепции ресентимента одновременно связаны с использованием отсылки к постмодернистским интерпретациям. Имеется в виду распространенная до недавнего времени в российском обществе философия консьюмеризма и медийности (последняя, кстати, претендует на рассмотрение как отдельная часть современного российского политического процесса). Сюда же можно добавить развитие философии энтертейнмента и идеологии событийности с учетом влияния их на политический ландшафт. Достаточно вспомнить сочинскую Олимпиаду и ее политические — внутрироссийский и международный — контексты.

Вся эта политическая реальность вполне может быть проанализирована в русле традиционных идеологических подходов как часть трансформации в логике модернизации или как часть идеологического оправдания существующего политического статус-кво, как оформление специфической формы современного посткоммунистического российского авторитаризма (в духе концепции “суверенной демократии” или идеологии “русского мира”). Но многое тогда не укладывается в эти схемы, оставаясь за кадром. В то же время описание ситуации через оптику ресентимента позволяет выявить и проанализировать качественно новые ситуации, связанные именно с постулированной



выше ситуацией посттравматического развития, с развитием фрустрационных процессов. Все это, естественно, не отменяет возможности рассматривать такие модели с помощью привычного концепта политической манипуляции, в том числе и для легитимации правящего режима. Другое дело, что такая манипуляция делает своими заложниками самих манипуляторов. А это уже качественно другая ситуация, требующая отдельного языка для своего описания.

Очень важно, что в таком случае речь идет о массовом политическом поведении, а не о ситуации, связанной с анализом политики правящих элит. Прежние дискуссии, посвященные рассмотрению специфики российского транзита с точки зрения перехода “от чего-то к чему-то” (например, от “проклятого советского прошлого” к “светлому капиталистическому будущему” или от одной “цивилизационной парадигмы” к другой), сменились попытками описания устоявшегося политического режима. Так или иначе, научные споры строятся вокруг проблем авторитаризма и возможности использования этих концептов в приложении к российским реалиям. В. Гельман, рассуждая о тупиках авторитарной модернизации в России, указывает на то, что можно дать универсальную классификацию авторитарных режимов и, соответственно, классифицировать основные несущие институты этих режимов. Речь идет о бюрократических, военных и однопартийных разновидностях авторитарного режима. По мнению политолога, все три авторитарные альтернативы не работают в России [Гельман 2009]. Конечно, такая схема не исчерпывает всей проблематики авторитарных режимов. В то же время надо отметить ее четкость, ясность и универсальность. Точкой отсчета в самоопределении российского властного режима стала общеизвестная теория “суверенной демократии”, претендовавшая — в отличие от универсальных определений — на выявление специфических черт российской политической ситуации [Сурков 2008]. В отличие от экспертных оценок в данном случае речь идет о попытке выстраивания новой властной идеологической легитимации существующего порядка и его властного самоописания. Интересно, что обе трактовки объединяет идея “элитарной” интерпретации политического процесса. Правда, в случае Гельмана речь идет об отсутствии акторов, основных двигателей возможной авторитарной модернизации (чиновничество, силовые структуры или партия власти). Такие идеи продолжают интерпретации 1990-х годов, но уже на новом этапе. Тогда говорилось о сложном взаимодействии элит при пассивном участии остальных групп населения. В сурковском случае речь идет об использовании традиционной российской идеологемы “власть — народ”, естественно, с точки зрения власти как главной защитницы (“оберегательницы” и т.п.) “единого и неделимого” народа. Но остается незатронутой проблема политической роли масс, алгоритма их участия в политике, их предпочтений и установок как основы для проведения той или иной политики режима, а не как объекта манипуляции или “Великого Немого”, которого можно не принимать во внимание. Такая ситуация делает особенно востребованными концепции, направленные на описание массовой политики как области реализации и влияния различных политических стратегий современного массового общества.

### **КОНСЬЮМЕРИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО И ФЕНОМЕН “НОСТАЛЬГИИ ПО НАСТОЯЩЕМУ”**

На передний план в этом контексте выходит технологичность состояния ресентимента, связанная с развитием “аффективного менеджмента” существующими порядками эмоций, чувств. Тут важной частью становится возможность использования или включения неких символов, знаков, образов, отсылающих

к общей истории, к общей культуре, к чему-то общему. Помимо литургического эффекта сопричастности (Б. Андерсен), возникает примечательная ситуация конструирования идентичности через сотворение неких культурных продуктов, выступающих как культурные маркеры. Причем эти продукты являются “скопоропорящимися” (с быстрым периодом полураспада), но это не главное. Их создание полностью встраивается в описанное В. Беньямином взаимодействие массового человека и произведения искусства как модели отношений человека и общественных артефактов (в том числе медийных и культурных) в нашу эпоху. Напомним, что, с одной стороны, речь идет о замене опыта переживанием, ориентацией на аффект, на включение только эмоциональной реакции на происходящее. С другой стороны, то, что воспроизводится, например, с экрана телевизора, тоже лишено аутентичности, ауры и является технологическим продуктом.

Возникает характерное взаимодействие ресентиментной реакции на происходящее и постмодернистской беньяминовской ситуации, связанной с ее ориентацией на нечто сиюминутное, на нечто эффектное, бьющее по нервам, пронизывающее до дрожи и тут же забывающееся или сменяющееся новыми ощущениями. Обратим внимание при этом на использование отсылок к прошлому, включение реактивных реакций, связанных с откликом на произошедшее уже давно или недавно. Часто это переживание внерационально и лишено обычной рефлексии. Однако его нельзя отнести и к идеологии или вере. Скорее это какая-то субстанция, отвечающая необходимости формирования некоей объединяющей рамки, напоминающей, может быть, и гражданскую религию *à la* Руссо, но не являющейся ей. В рамках этих всплывающих концептов, трансформаций продуцируется причудливая магма образов, символов, отсылок, претендующих на сопричастность и на солидарность. Такой конструируемый образ оказывается неразрывно связан с той реальностью, в которой отмечают исход белых из Крыма в гражданскую войну, отталкиваясь от описания этого события в фильме Н. Михалкова “Солнечный удар”, и вписывают этот юбилей в современный политический дискурс “возвращения Крыма на Родину”; в которой российские байкеры, возникшие в том числе и как аналог западных молодежных движений 1960-х годов (вспомним знаменитого “Беспечного ездока” с Д. Николсоном в главной роли), едут маршрутами Красной армии по пути освобождения европейских стран от фашизма и, в свою очередь, рассматриваются некоторыми европейскими странами как угроза безопасности Центральной Европы и как реализация геополитических ревизионистских претензий современной России.

Нетривиально эту ситуацию производства, отображения и реконфигурации новых старых смыслов описывает С. Ушакин, обращаясь к памяти о войне, выраженной в песне, в солдатской балладе, которая затем превращается в новый миф о войне, соединяющий и сплавляющий в себе элементы реакции на различные вооруженные конфликты, в которых участвовала наша страна в XX в. Тут сначала происходит некий взрыв смысла, а затем своего рода новая сборка, где образ войны выступает как рамка общей идентификации, сопричастности общей боли, общей травме (как пел бард, “мои безвинно павшие, твои безвинно севшие”). Ушакин приводит в пример исследования поэзии американских ветеранов вьетнамской войны: основным приемом, с помощью которого американские поэты-ветераны попытались вернуть себе в 1970-х годах власть над языком и сюжетным оформлением войны, монополизованными официальным дискурсом, стала поэтическая фрагментация синтаксиса и нарратива (*fragging*). Термин *fragging* также связан с проявлением защитной функции культурного жеста. Во время вьетнамской войны он использовался

для описания акта самозащиты, в ходе которого солдаты с помощью осколочной гранаты (*fragmentation grenade*) избавлялись от некомпетентного и опасного командира, не берегущего жизни своих подчиненных. Такая же фрагментарность и “осколочность” характерна и для российских военных воспоминаний о войнах прошлого столетия<sup>4</sup>. Военная песня как ритуал и как действие становится своего рода контейнером, куда помещаются разные смыслы. Запускается процесс семиозиса, связанный с отсутствием “якорения” первоначального смысла, привязки его к определенному означаемому, соответственно возникает “скользящее” означаемое, развивающееся в контексте военного мифа. В результате разные военные конфликты становятся частью рассказа об одной большой войне. Такой культурный продукт может анализироваться и как идеология, и как культурный феномен, и как результат медийности, и как потребительский товар. Естественно, что сразу напрашиваются ассоциации с манипуляцией, идеологией господства и подчинения, но у данного продукта очень быстрый период полураспада и поэтому любая идеология, которая будет отталкиваться от таких символов, рискует очень быстро устареть. Требуется постоянное обновление ассортимента, расширение “линейки” предложения.

Трактовка процесса социального воображения как реакции на не подлежащую выражению травму войны совпадает с нашей идеей описания технологии влияния “машины воображения” ресентимента на “политическое воображаемое” российского общества, где рамки ресентимента задают точку сборки культурного продукта, связанного с процессом социального воображения и конструирования российского прошлого. В подтверждение своих тезисов С. Ушакин демонстрирует видеообразы, которые выстраиваются в видеоклип, сопровождающий исполнение песни “И все-таки мы победили!”. Сама песня была написана для фильма П. Тодоровского “По главной улице с оркестром” (1986 г.) и стала одной из знаковых песен о войне. В то же время сам видеоряд контаминирует кадры хроники Великой Отечественной войны, чеченского конфликта, неатрибутированные кадры военных действий, в которых задействована современная военная техника и т.д. Возникает своего рода рамка, куда может быть вставлена любая военная картинка, приобретающая за счет места сборки новый смысл. Можно привести другой пример презентации известной песни “Не спеши” современной российской рок-группой “Мураками”. Советский шлягер 1960-х годов, который исполнялся М. Магомаевым и А. Герман, превращается в клипе, посвященном выходу новой версии компьютерной игры “*War Thunder*”, в звуковое сопровождение картинок из военной жизни, стилизованных под образы Великой Отечественной войны и одновременно в рекламу новой версии компьютерной игры. Характерно, что тут сложно различить маркетинговый ход, рекламу, манипуляцию, новое прочтение классического шлягера, выражение патриотизма, влияние образного ряда кинофильма Ф. Бондарчука “Сталинград” и т.д.

Тема встраивания памяти о войне в современную российскую действительность проявляется в рождении, распространении и восприятии такого символа, как георгиевская ленточка. В частности, дореволюционная Георгиевская лента, восстановленная в правах как гвардейская во время Великой Отечественной войны, до революции была принадлежностью награды за солдатскую доблесть — Георгиевского креста и ордена Славы. Таким образом, по мнению А. Миллера, ленточка стала символом, который — в отличие от прежних символов Победы

<sup>4</sup> Ушакин С. *Осколки военной памяти: “Все, что осталось от такого ужаса?”*. Рецензия на книгу: Алексиевич С. *Последние свидетели: Соло для детского голоса*. М.: Время. 2007. Доступ: [http://www.alexievich.info/article\\_NLO.html](http://www.alexievich.info/article_NLO.html) (проверено 14.11.2016).

(например, Красного знамени) — не был жестко привязан к коммунистическому прошлому. Она “освежала” символику Дня Победы, фокусировала ее на воинской доблести, т.е. самой бесспорной части военного мифа, и была приемлема для более широкого круга людей, чем советские символы Победы. Неслучайно наиболее активная критика георгиевской ленточки поначалу исходила именно из коммунистических кругов [Миллер 2012]. Сама статья ученого, содержащая размышления по этому поводу, называется “Изобретение традиции Э” и, конечно, данное название содержит отсылку к знаменитому сборнику Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера, в котором анализировались практики изобретения национальных традиций в европейских государствах в Новое время. Интересно, что георгиевская ленточка как символ часто политизируется и становится своего рода маркером определенной идеологической позиции, становясь в разные исторические периоды объектом критики поочередно коммунистов, либералов, националистов. Также важно, что сама ленточка становится частью совершенно разных политических и идеологических контекстов, превращаясь, с одной стороны, в объект манипуляции, а с другой — в объект потребления.

В ходе украинского конфликта для националистов георгиевская ленточка, дополненная понятием и образом “ватника” (отсылка к традиционной советской одежде, часто используемой в местах заключения), “ваты” (презрительная форма редуцированного произношения слова “ватник”) превратилась в ультранационалистическом контексте в символ “агрессивного” российского государства и его “империалистической политики”. В свою очередь, украинские патриоты пытаются сначала противопоставить ленточке английскую и европейскую символику цветка мака как памяти о мировых войнах, а затем и образ украинской национальной одежды, украшенной узорчатой вышивкой (“вышиванку”).

96

Использование электронных медиа (знаменитый образ “зомби-ящика”) также позволяет рассуждать о том, что именно с их помощью пассивный зритель получает возможность для самовыражения в повседневности своего социального и политического проекта (сразу вспоминается сюжет фантастического фильма “Аватар”, где обездвиженный инвалид — подобный, кстати, кинозрителю, тоже обездвиженному на время сеанса — получает возможность новой жизни в новом теле за счет мысленного трансфера, происходящего в специальной капсуле). В историческом прошлом только лидеры различных общественных движений, связанных, например, с миллениаристами, участниками каргокультов и революций, претендовали на воплощение своих видений в жизнь, и именно это вызывало к жизни широкие социальные движения. Теперь такие практики становятся частью повседневности обычных людей [Appadurai 1996]. Очевидно, что современное общество заставляет по-новому взглянуть на роль воображения в социальной и политической жизни в целом. Естественно, что в этом случае особо важной становится роль медиа, которые формируют массовые культурные и политические образы.

## НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Возвращаясь к феномену знаковых изменений в массовой российской политике, можно сделать вывод, что очевидным образом постсоветские “машины ностальгии”, изготовленные по лекалам В. Беньямина и подключенные к “электростанциям” ресентимента, полностью вписываются в логику консьюмеристского общества, работая над производством все новых и новых важных идеологических и культурных товаров для потребления. То есть мы можем говорить о специфическом идеологическом и медийном жесте, ука-

зывающем на самые разнообразные контексты современного российского общества (иногда самые неожиданные) и заставляющем их звучать в унисон и усиливать друг друга. Формируется специфический тип политического поведения индивида или социальной группы, совмещающий в себе самые разные ценностные ориентации, в частности, связанные с идеологией ресентимента, иллюзией участия в политике через консьюмеристское потребление медийного политического продукта, постоянной ориентацией на проявления событийности в политике, необходимостью постоянного конструирования властью и медиа чувства сопричастности существующему политическому режиму через реализацию определенной исторической политики, направленной на работу с образами прошлого и на их активное потребление обществом. Все это заставляет по-новому подойти как к способам описания политических предпочтений российского общества, так и динамики их возможных изменений в будущем.

---

Александр Дж. 2013. *Смыслы социальной жизни: Культуросоциология*. М.: Праксис. 640 с.  
Амери Ж. 2015. *По ту сторону преступления и наказания*. М.: Новое издательство. 198 с.  
Гельман В. 2009. Тупик авторитарной модернизации. — *Pro et Contra*. № 5/6 (47). С. 51-61.

*Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров)*. Аналитический доклад ИС РАН. 2011. М.: Весь Мир. 304 с.

Жижек С. 2010. *О насилии*. М.: Европа. 184 с.

Кара-Мурза С.Г. 2013. *Аномия в России: причины и проявления*. М.: Научный эксперт. 264 с.

Миллер А. 2012. Изобретение традиции. Георгиевская ленточка и другие символы в контексте исторической политики. — *Pro et Contra*. Май-июнь. С. 94-100.

Ницше Ф. 1990. К генеалогии морали. — Ницше Ф. *Сочинения*. В 2-х т. Т.2. М.: Мысль. С. 407-524.

Слотердейк П. 2001. *Критика цинического разума*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета. 584 с.

Сурков В. 2008. *Тексты 97-07. Статьи и выступления*. М.: Европа. 192 с.

Шелер М. 1999. *Ресентимент в структуре моралей*. СПб.: Наука, Университетская книга. 231 с.

Штомпка П. 2001. Социальное изменение как травма (статья первая). — *Социологические исследования*. № 1. С. 6-16.

Appadurai A. 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 224 p.

Fitzpatrick Sh. 2001. Vengeance and Ressentiment in the Russian Revolution. — *French Historical Studies*. Vol. 24. No. 4 (Fall). P. 579-588.

DOI: [10.17976/jpps/2017.01.08](https://doi.org/10.17976/jpps/2017.01.08)

## **POLITICAL BEHAVIOR IN MODERN RUSSIA IN THE LIGHT OF THE RESENTIMENT CONCEPT**

**D.V. Kozlov<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> *Irkutsk State University, Irkutsk, Russia*

---

**KOZLOV Dmitry Viktorovich**, Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor, Center for Advanced Studies and Education, Irkutsk State University. Email: [dvk@home.isu.ru](mailto:dvk@home.isu.ru)

---

Kozlov D.V. Political Behavior in Modern Russia in the Light of the Ressentiment Concept. — *Polis. Political Studies*. 2017. No. 1. P. 85-98. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.01.08>

---

*Received: 14.04.2016. Accepted: 18.10.2016*

**Abstract.** The article analyzes the phenomenon of mass political response to the Ukrainian crisis and the decline of Russian-American and Russian-European relations, as well as promotion of these events in the media in 2013-2015. For many researchers it was the case to describe different patterns of mass behavior as one of conditions for the modern political process. The article discusses the concept of anomie and resentment, which allows to give a new interpretation of the crisis of modern Russian society and to describe this situation as a complex phenomenon that is associated with the previous historical development by path dependence logic. The article also examines the possibility of interpreting the crisis, taking into account its development in the framework of the consumerist society. As a result, we can conclude that the recent significant changes in Russian mass politics partly associated with the development of the politics of nostalgia, which in interaction with various practices of resentment fit fully into the logic of consumerist society and influence to the production of new important ideological and cultural goods for mass consumption. We can speak about the interesting type of possible political behavior of the individual or social group, which combines variety of values connected with the ideology of resentment, the illusion of participation in politics through consumerist consumption of media political product, the need for constant design of involvement's feelings to the existing political regime by power and media through the implementation of the specific historical policy aimed to work with images of the past and their active consumption by the modern Russian society. These political orientations hardly fit into the traditional ideological and political schemes of the European society of modernity (liberalism, conservatism, left ideologies, etc.) and make possible a new approach to estimate as the ways of describing of the current political preferences of the Russian society as the dynamics of their possible changes in the future.

**Keywords:** Russia; resentment; trauma; consumerist society; political process; politics of nostalgia; crisis.

### References

Alexander J. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. (Russ. ed.: Alexander J. *Smysly socialnoy gizni: Kultursociologia*. Moscow: Praxis. 2013. 640 p.)

Améry J. Jenseits Von Schuld und Sühne: Bewältigungsversuche eines Überwältigten. (Russ. ed.: Améry J. *Po tu storonu prestupleniya i nakazania*. Moscow: Novoe izdatelstvo. 2015. 198 p.)

Appadurai A. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1996. 224 p.

*Dvadsat' let reform glazami rossian (opyt mnogoletnih sociologicheskikh zamerov)* [Twenty Years of Reforms by Eyes of Russians: the Experience of Sociological Many Year Measurements. Analytical Report, Institute of Sociology, RAS]. Moscow: Ves Mir. 2011. 304 p. (In Russ.)

Fitzpatrick Sh. Vengeance and Resentment in the Russian Revolution. — *French Historical Studies*. Vol. 24. No. 4 (Fall). 2001. P. 579-588.

Gelman V. The Dead End of Authoritarian Modernization. — *Pro et Contra*. 2009. No. 5/6 (47). P. 51-61. (In Russ.)

Kara-Murza S.G. *Anomia v Rossii: prichiny i proyavleniya* [Anomie in Russia: Causes and Manifestation]. Moscow: Nauchnyi Expert. 2013. 264 p. (In Russ.)

Miller A. The Invention of Tradition. The Georgian Ribbon and other Symbols in the Context of Historical Policy. — *Pro et Contra*. May – June. 2012. P. 94-100. (In Russ.)

Nietzsche F. Zur Genealogie der Moral. (Russ. ed.: Nietzsche F. K genealogii morali. — *Works*. Vol. 2. Moscow: Mysl. 1990. P. 407-524).

Sloterdijk P. Kritik der zynischen Vernunft. (Russ. ed.: Sloterdijk P. *Kritika tsinicheskogo razuma*. Ekaterinburg: Izdatelstvo Uralskogo Universiteta. 2001. 584 p.)

Surkov V. *Texts 97-07. Statyi i vystupleniya* [Articles and Speeches]. Moscow: Europe. 2008. 192 p. (In Russ.)

Scheler M. Das Ressentiment im Aufbau der Morale. (Russ. ed.: Scheler M. *Resentiment v structure moraley*. Saint Petersburg: Nauka, Universitetskaya Kniga. 1999. 231 p.)

Schtompka P. Social Transformation as Trauma. — *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2001. No.1. P. 6-16. (In Russ.)

Žižek S. Violence. (Russ. ed.: Žižek S. *O nasilii*. Moscow: Europe. 2010. 184 p.)